

АПОЛЛОН И ТАМАРА

1

Жил в одном городе на Большой Проломной улице свободный художник — тапер Аполлон Семенович, по фамилии Перепенчук.

Фамилия эта — Перепенчук — встречается в России не часто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепенчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более, что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались.

Но только фельдшер Федор Перепенчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей то есть смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до IV конгресса.

Об этом газеты своевременно трубили: покончил, дескать, с собой, при исполнении служебного долга, фельдшер из городского приемного покоя, Федор Перепенчук, причина — разочарование в жизни...

Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни... Федор Перепенчук и разочарование в жизни... Ах, какие это пустяки. Какая несусветная околесица!

Это правда: поверхностно размышляя, точно, жил, жил человек, задумывался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд — разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепенчука, не сказал бы таких пустяков.

Это к Аполлону Перепенчуку, таперу и музыканту, могло бы подойти это слово — разочарование. Жил потому что человек, бездумно наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных и физических, и от всяких катастроф и коллизий, — ослаб и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забежать вперед, о нем, об Аполлоне Перепенчуке и будет наше повествование.

А вот Федор Перепенчук... Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий он пришел к своим мыслям, нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать,

о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек — и о происхождении человека, и о зарождении вселенной, и всякие философские воззрения, теория относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий — все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепенчука.

И в этом отношении Аполлону Перепенчуку ни в какой мере с ним не сравняться.

Аполлон Перепенчук был, прямо-таки, перед ним пустяковый человек, дрянцо даже... Не в обиду будет сказано его родственникам. А, впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось, разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепенчук. Ну, да и та в изящной словесности, пожалуй, что ничего не понимает. Пуццай обижается.

Приятелей у него тоже не осталось. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепенчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету.

И какой это мог быть приятель у Федора Перепенчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее, образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не затем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику.

Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли:

— Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение, и если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной?

Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья вселенной. Но все это туманно и неясно, и для простого человека даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи: для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры, и в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился.

Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепенчука.

И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальний его родственник — Аполлон Семенович Перепен-

чук, тапер, музыкант и свободный художник, проживавший на Большой Проломной улице.

Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции.

2

Слово это — тапер — ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепенчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, превратно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя тапером, то непременно с прибавлением — артист, свободный художник, или еще как-нибудь по-иному.

Но это несправедливо.

Тапер — это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей.

Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, однако и это есть подлинное искусство.

Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры.

Но под этот разряд ни в какой мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепенчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его — все шло вразрез с обычным пониманием ремесла тапера.

Был при этом Аполлон Семенович Перепенчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закушенная нижняя губа и надменный профиль артиста — делали фигуру его похожей на изваяние.

Даже кадык, простой, обыкновенный кадык или, как он еще иначе называется — адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепенчука, при постоянно гордо закинутой голове — выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое.

А ниспадающие волосы! А бархатная блуза! А темно-зеленый до пояса галстук! Собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек.

А те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом... Да, неотразимейший был человек. Не одна женщина лила по нем обильные слезы. А как сердито сторонились

его мужчины! Как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, чиновника трепаться с каким-то таперिशкой.

А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель Казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепенчуком!.. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот два часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке, введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы...

Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепенчук был, напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек.

Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни...

Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим.

Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирая их, нумеруя и связывая по пачкам. Но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать:

— Искусство — это выше всего.

А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы, до этого Аполлону Перепенчуку было далеко, однако он имел-таки собственную композицию-вальс «Нахлынувшие на меня мечты»...

Вальс этот он весьма успешно исполнял, при огромном стечении публики, в стенах Купеческого собрания.

Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченная «Фантази реаль», написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта «Фантази реаль» посвящалась некоей Тамаре Омельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепенчука.

3

Но тут автор должен объясниться с читателями. Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и проис-

текали, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как например: внешность героев, образ их мыслей, или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору.

Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепенчуку, или когда, наконец, тетушка Аделаида Перепенчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича.

Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими, исключительными именами — Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в семнадцать и в восемнадцать лет на Большой Проломной улице прозывались именно Тамарами или Иринами.

А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. Семнадцать лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, такие красавцы все были эти гусары и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были, с легкой руки супруги начальника губернии, Тамарами или Иринами.

Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепенчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Омельченко.

Было ей тогда неполных восемнадцать лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы — такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плавущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице, или даже в обществе, называли ее — булочкой, пончиком или пампушечкой. И при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием.

В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепенчука.

Они встретились на балу в стенах клуба Купеческого собрания. Это было в начале европейской всемирной войны. Ее поразил вид его, необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью.

В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются.

В этот момент Аполлон Перепенчук понял, какой он, в сущности, незначительный еще и мизерный человек. Он, в силу своей профессии прикрепленный к музыкальному инструменту, не сможет даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека.

Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепенчука.

И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты».

Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам.

Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепенчука тотчас охватила все здание Купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности шикарных слухов.

Так началась эта любовь.

Аполлон Перепенчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом.

Это длилось до осени.

А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепенчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она, с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев.

— Мамаша, — сказала она, — да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену.

Во время ее реплики Аполлон Перепенчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову.

Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать, она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди.

Аполлон Перепенчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, стараясь придумать спо-

соб стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным.

В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство и искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом... Но это были все только планы. Аполлон Перепенчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией.

Он послал в Петербург сочинение свое — вальс «Нахлынувшие на меня мечты», но неизвестно, что случилось с рукописью: затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию, — неизвестно. В свет она так и не вышла.

Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепенчук сохранила его в своей памяти. Ах, она так любила напевать этот вальс!

К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепенчука — неоконченная «Фантази реаль», неоконченная не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя.

Аполлон Семенович был призван в ряды армии как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск.

То, что в фантазиях своих он думал: уехать, искать счастья на стороне, теперь исполнилось.

В декабре шестнадцатого года Аполлон Перепенчук пришел проститься с любимой девушкой.

Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание.

Прощаясь, Аполлон Перепенчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ни что другое не остановит его стремления к этому.

И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы сказала, что она вполне ему верит и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья.

4

И вот прошло несколько лет. Четыре с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покоянулись и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди боролись за право свое прожить.

И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепенчука. Разве что Тамара Омельченко да еще тетушка его, Аделаида Перепенчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о тапере и музыканте. Как о тапере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе таперов не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей.

На всех вечерах подвизался теперь маэстро Соломон Беленький с двумя первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно, головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно: никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попури из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы, как-то «тремутар» или «медведь». При этом не сходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигиванье танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепенчука.

А в тот год, когда Аполлона Перепенчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепенчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепенчука, как-то: двух пар мало ношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей, — в тот год он вернулся в родной город.

Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменялся. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос — делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек.

Даже губа, его гордо закушенная губа, была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом.

Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить.

Никогда никому он не рассказывал, как жил эти пять лет и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями.

Единственная вещь — кларнет, который он привез, дала повод людям заподозрить его в том, что славы он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни.

В общем неизвестно.

Известно только, что вернулся он не только не знаменитым, — вернулся он больным, голодным даже — иным человеком — с морщинами на лбу, с удлинненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой.

Он, как вор, вернулся в дом своей тетушки, как вор, бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтоб никто его не увидел. Но его если и видели, то не узнавали. Ничего не оставалось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепенчук.

Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнув он порог, обрушился на его голову. Вещи, его прекрасные вещи: бархатная тужурка, штаны, жилет — погибли безвозвратно. Тетушка, Аделаида Перепенчук, все распродала, вплоть до безопасной бритвы.

С некоторым даже равнодушием и безразличностью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре.

Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по Большой Проломной. Все псы выбежали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободренные штаны.

Наконец, еще усилие — ее дом, Тамарин дом... И Аполлон Перепенчук стучит кулаком в дверь.

Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас, сию минуту, понять, что с ним случилось. И, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо — поняла.

Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять. Но ничего не понял.

Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он стал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь.

Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него,

но ничего не понимала и ничего не видела, она видела лишь загрязненное его лицо, свалявшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой.

Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И, хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустил две-три сентиментальных и интимных подробности, как, например: она расчесывает своим гребнем свалявшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него «Персидской сиренью»... Автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей, его интересует психология.

Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепенчук подумал, что все идет по-прежнему, что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия.

Но она сказала, нахмурившись:

— Любезный Аполлон Семенович, я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего... Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету.

Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и с сердцем промолвила:

— Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду.

Аполлон Перепенчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно, не то делал и не то говорил... Но как было нужно, он и теперь не знал.

И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепенчук, стараясь, наконец, понять, проникнуть в сущность явлений.

5

В короткое время Аполлон Семенович Перепенчук страшно обеднел. Больше того: это была бедность, даже нищета, человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего, однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности.

Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей Аделаиде Перепенчук:

— Я, тетушка, беден, как испанский нищий.

Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета, и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин.

Но Аполлон Перепенчук только усмехался.

Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвизается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы теснились в его возбужденном мозгу.

Маэстро Соломон Беленький и исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепенчука безвольным созерцателем.

Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурочок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила.

Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот — это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного.

И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепенчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная.

Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоения в кровати.

Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепенчука. Иные мысли, по силе и глубине, ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, и о том, что человечество, весь мир, должны изменить свою жизнь для того, чтоб найти покой и счастье, и для того, чтоб не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла неоформленная.

Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:

— Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?

— Есть, — сказала тетушка, — непременно есть.

— Ну, а вот обезьяна, скажем... Обезьяна человекоподобна... Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?

— Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека.

Аполлон Перепенчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его.

— Позвольте, тетушка, — сказал он. — Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже...

— Перестань, — сказала тетушка. — Не богохульствуй.

— Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. — Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую... Значит, у червяка тоже есть душа... А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам... И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?

— Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.

— Позвольте, — закричал Перепенчук. — Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо... Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь. Только что живет по-выдуманному. А ему нужно по-другому жить...

Но как нужно было жить, Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке — он не знал. Тем не менее мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как, в сущности, надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него.

Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении. А в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепенчука. Это письмо было от Тамары.

Она, с жеманностью кокетливой женщины, писала в грустном лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глоба и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепенчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала, она прощенья просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла.

Тихо смеялся Аполлон Перепенчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепенчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчет-

ливо понял, что ему ничего не нужно, даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно, окончательно понял, что он погибает, в сущности, не из-за нее, а погибает оттого, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось.

И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни.

Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка.

6

Аполлон Семенович Перепенчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и, сказав тетюшке Аделаиде, что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу, вышел. Он долго и беспечно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывая в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей... Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь, женщины мыли чашки или шили и почти все — ели, широко и беззвучно открывая рты. И, за двумя рядами стекол, Аполлону Перепенчуку казалось, что он слышит их чавканье.

От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары.

Аполлон Перепенчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для самого себя, постучал по стеклу пальцами.

Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал. Но не узнала и крикнула: «Кто?»

Аполлон Семенович молчал.

Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходиться к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений...

Аполлон Перепенчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно, — она не поймет и не захочет понять, оттого что в этом у ней была какая-то радость и, может быть, гордость.

И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел.

Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку. Остановился.

— Что такое?

В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее... Какая-то мысль, исход которой, от которого на мгновение стало ясно и спокойно.

Аполлон Перепенчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет... Не поступить ли в пишмоводители? Нет... Он забыл.

Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сино минуто, проникнуть в ее дом, в комнату ее и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль.

Он подошел к двери. Хотел постучать. Но вдруг заметил — дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты.

Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его — Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно — автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям.

Аполлон Перепенчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно. На цветок, на вазочку с пучком сухой травы, и вдруг вспомнил.

— Да!

Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни.

Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро по Проломной. Потом побежал. Провалился в рыхлый снег. Упал. Встал. Опять побежал.

— Вспомнил!

Он бежал долго, задыхаясь. Уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепенчук бежал.

И вот уже окраина города. Слобода. Заборы. Семафор.

Будки. Канавы. Полотно.

Аполлон Перепенчук упал. Пополз. И, уткнувшись в рельсы, лег.

— Вот эта мысль.

Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает.

Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок.

— Ты чего? — сказал мужик с фонарем. — Чего лег?

Перепенчук молчал.

— Чего лег? — с испутом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал.

Аполлон Семенович поднял голову. Сел.

— Люди добрые... Люди добрые... — сказал он.

— Какие люди? — тихо сказал мужик. — Да ты чего задумал-то? Пойдем-козь в будку. Я здешний... Стрелочник...

Мужик взял его под руку и повел в сторожку.

— Люди добрые... Люди добрые... — бормотал Перепенчук.

Вошли в сторожку. Душно. Стол. Лампа. Самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар.

Перепенчуксел на лавку. Зубы его стучали.

— Ты чего лег-то? — спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке. — Не смерти ли захотел? Или рельсину, может, открыть хотел? А?

— А чего он? — спросил мужик в поддевке. — Лег, что ли, на рельсы?

— Лег, — сказал стрелочник. — Я иду с фонарем, а он, курва, лежит, как маленький, уткнувшись харей в самую то есть рельсину.

— Гм, — сказал мужик в поддевке, — сволочь какая.

— Подожди, — сказала баба, — не ори на него. Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-козь чайку, попей.

Аполлон Перепенчук, стуча по стакану зубами, выпил.

— Люди добрые...

— Обожди, — сказал стрелочник, снова подмигивая и для чего-то толкая под бок мужика в поддевке. — Дай-козь, я его спрошу по порядку.

Аполлон Семенович сидел неподвижно.

— Отвечай по порядку, как на анкету, — строго сказал стрелочник. — Фамилия.

— Перепенчук, — сказал Аполлон Семенович.

— Так, — сказал мужик. — Не слышал.

— Лет от роду?

— Тридцать два.

— Зрелый возраст, — сказал мужик, чему-то радуясь. — А мне пятьдесят первый, значит... Возраст все-таки... Безработный?

— Безработный...

Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.

— Эта худа, — сказал он. — Ну, а ремесло какое понимаешь? Знаешь ли какое ремесло?

— Нет...

— Эта худа, — сказал стрелочник, покачав головой. — Как же это, брат, без рукомесла-то жить? Это, я тебе скажу, немислимо худа. Человеку нужно непременно понимать рукомесло. Скажем, я — сторож, стрелочник. А теперь, скажем, поперли меня, сокращенье там или что иное... Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги — рука сломалась — мне и горюшка никакого. Будуча я зубами веревки вить. Вот она какое дело. Как же это можно без рукомесла. Нипочем не можно... Как же существуешь-то?

— Из дворян, — усмехнулся мужик в поддевке. — Кровь у них никакая... Жить не могут. В рельсы ткаются.

Аполлон Перепенчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:

— Сядь. Я тебя сейчас великолепно устрою.

Он подмигнул мужику в поддевке и сказал:

— Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?

— Пуцай, — сказал мужик, застегивая поддевку, — это можно: приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то есть.

— Да пуцай он с тобой пойдет, Вася, — сказала баба. — Мало ли, что случится.

— А пуцай! — сказал мужик, вставая и надевая шапку. — Идем, что ли. Прощайте.

Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепенчуком.

7

Аполлон Семенович Перепенчук вышел в третий и последний период своей жизни — он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился.

Он ходил теперь в желтых обмотках, в полупальто, с медной бляхой на груди — № 3. От спокойного, бездумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри и веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму. И только глаза порою пристально и не мигая останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая.

В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминанья эти шли помимо его воли — он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли эта ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться.

Однако все огорчения были теперь позади. И счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни.

В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю и лежал

не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь птички, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля — тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостинной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить.

Но однажды Аполлон Семенович Перепенчук встретил Тамару под руку с каким-то, довольно важного вида, иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали.

Аполлон Перепенчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки.

Аполлон Перепенчук бросился прочь.

Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал... Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и аляповатые подписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая.

Девятнадцатого сентября по новому стилю Аполлон Семенович Перепенчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил.

А семнадцатого сентября, т. е. за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко. Аполлон Семенович Перепенчук об этом так и не узнал.



ЛЮДИ

1

Станные вещи творятся в литературе! Нынче, если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение. И критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют.

Такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатель расплачивается с ним в золоте, не менее, как по сто рублей за лист.

А на наш ничтожный взгляд, по сто рублей за лист — это уж явная и совершенная несправедливость.

В самом деле: для того чтобы написать повесть о современных событиях, необходима соответствующая география местности, то есть пребывание автора в крупных центрах или столицах республики, в которых-то, главным образом, и происходят исторические события.

Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возможность существовать с семьей в крупных городах и в столицах.

Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости.

Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями, другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит.

Так вот, где же взять такому автору крупных мировых событий, современных идей и значительных героев?

Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными слухами приезжающих из столицы товарищей?

Нет, нет и нет! Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах.

Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на шести иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят вокруг него. И что даже еще

и лучше зарисовывать небольшие красочные этюды с маленькими провинциальными человечками.

Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания! Все и без вас давно продумано, все, может, улицы исхожены и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе, в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за которыми все будущее русской изящной литературы. Но даже если бы автор и не причислял себя к этой школе, все равно, говорить о незнакомом человеке — затруднительно. То перехватишь через край и заврешься в психологическом анализе, то, наоборот, недоскажешь какой-нибудь мелочишки, и читатель станет в тупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей.

Так вот, в силу вышесказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики. Здесь речь идет, как, наверное, догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове.

Автор ни за что не стал бы затрачивать на него свое симпатичное дарование, если б не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора, скрепя сердце, взяться за перо и начать повесть о Белокопытове.

Это будет несколько грустная повесть о крушении всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая, в сущности, пустяковая вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять. Это будет повесть о крушении идеалистической философии.

В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и тем паче не переживать с героем его низменных, звериных чувств и животных инстинктов.

Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести.

Действующих лиц в повести будет не так-то уж много: Иван Иванович Белокопытов, худощавый, тридцати семи лет, беспартийный. Его

жена, Нина Осиповна Арбузова, смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, тридцати двух лет, беспартийный, заведующий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми начальник станции, товарищ Петр Павлович Ситников.

Есть и еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например: Катерина Васильевна Коленкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич — лица, о которых заранее говорить нету смысла ввиду незначительности их роли.

Кроме человеческих персонажей, в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится.

2

Фамилия Белокопытовых — старая, дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходила на нет, и Белокопытовых было всего двое: отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович.

Отец, Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн-де-Куртенэ, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов.

И, несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную, любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или журчащим говором какого-нибудь лесного ручейка.

Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь.

В один из ясных летних дней, собравшись на обычную свою верховую прогулку, он стоял, совершенно одетый, у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцеватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стеклом с золотым набалдашником. Тут же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, резвился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор.

Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за двадцать лет, и он был уже возмужалым юношей с первым пушком на верхней губе.

В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки.

— Не поезжайте, папаша, — говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе.

Но молодецватый папаша, подкрутив усы и махнув рукой, дескать, пропадать так пропадать, пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху.

Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и, в крайнем раздражении и гневe, дал шпоры.

Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, размозжив ему череп о камни.

Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. И только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но, кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях.

Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше.

Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию.

Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая — не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями.

Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство — вздор и ерунда и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества, с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам.

Родственнички в один голос ахали и охали и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что, в сущности, они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость.

Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью раздал мужикам домашнюю утварь и скотину и, все еще с крупным состоянием, переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатухи.

Кой-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни.

Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью.

Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы, в порядке живой очереди, входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.

Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слухок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги, но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело.

Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием «Букет резеды». В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом — «Люди». Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была неплохая. Отпечатанная на лучшей меловой бумаге в количестве трехсот экземпляров, она за четыре с небольшим года разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди граждан.

Неплохая была книжонка.

А что касается до Ивана Ивановича, то он, действительно, несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он, в припадке великодушия, подарил ильковую шубу.

Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами.

Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу как политический эмигрант и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте.

И, приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И, быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на жительство, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних, пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушье.

Этот отъезд состоялся в сентябре 1910 года.

3

Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому не известно.

Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал, автор же не рискует сочинять небывлицы о тамошней иностранной жизни.

Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им две или три европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами.

Увы! Автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна.

Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью и с некоторой даже виной перед читателями должен пропустить, по крайней мере, десять или одиннадцать лет заграничной жизни Ивана Ивановича Белокопытова, чтоб окончательно не завратиться в мелких деталях незнакомой жизни.

Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти десять лет в жизни нашего героя не было. Ну — жил человек за границей, ну — женился там на русской балетной танцовщице... Что же еще? Ну — поистратился, конечно, вконец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все.

Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но опять-таки, по причинам вышеуказанным, автор оставляет все как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога — автор человек не тщеславный — как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить.

Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за десять лет. Впрочем, не все.

За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее «О революционных возможностях в России и на Кавказе». Однако сначала мировая война, затем революция сделали эту книгу ненужным, вздорным хламом.

Но Иван Иванович не очень горевал об этом и на третий или на четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город. Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим. И не заврется. Это вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно или рассказано и получено из первых и уважаемых рук.

Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город.

Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял. Птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако без галош еще нельзя было ходить — местами грязь достигала колена и выше.

В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов.

Это было днем.

Несколько пассажиров моталось по платформе из стороны в сторону, с нетерпением ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник станции, товарищ Ситников.

А когда подошел поезд — из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без галош.

Это и был Иван Иванович Белокопытов. Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных, желтоватой кожи чемодана с никелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой, цыганского типа дамочке, он помог ей сойти.

Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она, с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, мягко улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд.

Поезд давно уже отошел — они стояли, не двигаясь. Куча опалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света.

Подошедший носильщик, старый герой труда Еременч, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем, взвалив их на плечи, Еременч двинулся к выходу, предлагая этим следовать приедем за ним и не стоять по-пустому.

Белокопытов пошел за ним, но у выхода, на крыльце позади станции, приказал Еременчу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение.

И стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб... Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице.

Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко седеющие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, которая ему предстоит, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух.

И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то идти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям.

Между тем его супруга, Нина Осиповна Арбузова, стоя позади его и язвительно глядя на его фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же, несколько поодаль, стоял Еременч, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность, или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еременчу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил:

— Ну, как вообще? Как жизнь?

Несколько грубоватый и лишенный всякой фантазии Еременч, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до пятнадцати тысяч чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо:

— Живем, хлеб жуем...

Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еременча о более реальных вещах и событиях, интересуясь, где то или иное лицо и какие изменения произошли в городе. Но Еременч, проживший безвыездно пятьдесят шесть лет в своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имени и даже названия улиц.

Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо, Еременч то принимался брать чемоданы, желая этим показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду.

Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив, намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы, или же у него есть еще кое-какие планы.

Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы.

Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но, увидя, что все обстоит благополучно и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушается и ничего, в сущности, не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньки, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь.

Не теряя своего достоинства, Ситников сказал, что он, действительно, что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как будто ему знакома, но, насколько это верно, доподлинно не знает и не помнит.

И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму.

За ним ушел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу возможно далее от входа чемоданы, для того чтобы проходящие пассажиры не поломали бы себе ноги.

Еремеич с сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести.

— В самом деле, — спросила жена Белокопытова, — куда ж ты намерен идти?

С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему идти, но не знал и спросил Еремеича, нет ли тут поблизости, хотя бы временно, какой-нибудь комнаты.

Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать и, решив наконец, что, кроме как к Катерине Васильевне Коленковой идти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит добрейшую женщину Катерину Васильевну, помнит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу.

И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи.

Позади шел, совершенно запарившийся, Еремеич. За ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подобрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

4

Белокопытовы поселились у Катерины Васильевны Коленковой. Это была простодушная, добровая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий.

Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что отведет им самую отличную комнату рядом с товарищем Яркимым, заведующим первой государственной хлебопекарней.

И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты.

С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревянные, с многими дырками в стенах, с глиняным рукомойником в углу на веревке и кучей мусора на полу.

Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомойник, и пошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут — и скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие потолки. Ему понравилась и комната, хотя, в сущности, комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отозвалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично.

Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате — более безвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме, у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать составляли все небогатое имущество комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленины рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь.

Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Коленковой.

Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее, или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями.

Иван Иванович был весел и шутлив. Он то подбегал к окну, восторгаясь какой-нибудь телкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого.

Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она с брезгливой улыбкой говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник, этакий, знаете ли, с ножкой или с педалью — нажмешь и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила:

— Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неизменением гербовой пишут и на простой.

И, умывшись утром, розовая и свежая, и помолодевшая лет на десять, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты и там, надев балетный костюм — этакие, знаете ли, трусики с газовой юбочкой — танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе враз.

Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя, впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен и что она уже несколько поправилась и пополнела и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине.

Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как одиннадцать лет тому назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна расспрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег и какие у него были земли. Ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко выговаривала ему за глупую беспечность и чуждость.

— Ну, как можно! Как можно так швыряться деньгами! — говорила она, сдерживая свое негодование.

Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор.

Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях.

Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали, — качал головой и беспокойно ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы.

Так проходили первые дни без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз, под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спросив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу.

И, узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим.

Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычачьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего изысканного мужчину.

5

Итак, жизнь шла своим чередом.

Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали снова прохожие, спеша по своим делам или прогуливаясь, луща семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна.

Иногда на улицу выходили домашние животные и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок.

Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И, говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько и стесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его возможно поскорей приняться за дело и определить свое положение, и Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает.

Однако первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу дается приличная должность человеку, знающему латинский и испанский языки.

Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали, то ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа.

Впрочем, принимали Ивана Ивановича всюду очень приветливо и внимательно, очень интересовались и расспрашивали о заграничье и о возможностях новых мировых потрясений, но, когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать и что испанский язык — язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается.

Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о ее практическом применении, но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели.

Иван Иванович перестал напирать на латынь. Он просил теперь письменной работы, но его расспрашивали, что он умеет и какой у него профессиональный стаж. И, узнав, что Иван Иванович ничего не умеет и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что им совершенно непонятно, к чему и на что его приспособить.